

## ПОВЕРХ ЛИТЕРАТУРЫ

Есть темы, существование которых в области художественной литературы чрезвычайно опасно, почти невозможно. В первую очередь это касается судьбы восточноевропейского еврейства во время Второй мировой войны. Документалистика перевешивает. Подлинные свидетельства тех лет столь страшны, что подводят сознание нормального человека к такой границе, за которую оно отказывается заглядывать. Писать об этом — невозможно. Не писать — еще более невозможно.

Опыт этой войны, сама Катастрофа уже пережита, с каждым годом остается все меньше участников и очевидцев. Но опыт этот еще не осмыслен.

Существует огромное количество исследований, психологи все еще продолжают изучать, что же такое должно произойти с человеком — мутация, душевная болезнь, развоплощение, — чтобы он восемь часов в день снимал золотые коронки с мертвых людей, потом мыл руки, кушал, шел на танцы, пил пиво и мирно ложился спать с любимой женой... что должны пережить десять тысяч человек, чтобы их могли вести на расстрел четыре солдата... Здесь — область адского эксперимента над человеческим сообществом, обращенным в массу, в пластическую массу.

Один немецкий психолог еврейского происхождения, попавший в фашистский концлагерь в 1939 году, несколько десятков лет спустя издал книгу, в которой анализирует способы «умерщвления» человека до его физической смерти, то есть приведения его в такое состояние, когда он просит прощения у палача, что не захватил с собой веревочки... А также способы противостояния, которые позволяют человеку сохранить личность от разрушения.

Роман Юрека Бекера «Яков-лжец» описывает частный случай этой психологической коллизии. Главный герой романа Яков Гейм, заурядный человек, в своей довоенной жизни ничем не отличавшийся от своих местечковых соотечественников, — владелец ма-

ленького кафе, кое-как сводивший концы с концами, человек, неспособный ни к риску, ни к полету (прозевал, прошляпил свою судьбу, испугавшись обязательств брака), и прожил бы свою жизнь, честно и трусливо, подсчитывая мелкие барыши и столь же мелкие убытки, судачил бы с соседями и посетителями и умер бы в своей постели на восьмом десятке. Но война все разрушила, вышвырнула людей в тюремный мир гетто, лишила не только свободы в высшем смысле слова, но и таких незаметных в нормальной жизни радостей, как вид цветка или дерева, возможность ночной прогулки при звездах, звуки музыки, которая льется из радиоприемника... И в этих стесненных, уродливых условиях одни подчиняются, начинают как будто уменьшаться в размерах, соглашаются на выживание любой ценой, а другие, которых единицы... С Яковом происходит нечто редкостное и чудесное — он возрастает в масштабе, становится почти таким же свободным и невинным, как удочеренная им сирота Лина, и совершает поступок, который по плечу лишь ребенку, — две недели рассказывает всему гетто сказку о том, что русские вот-вот войдут в их город и всех освободят. Нет у него никакого радиоприемника, но все считают, что есть, что он по ночам слушает военные сводки, ночные сказки, и по утрам он рассказывает, на сколько еще километров продвинулись мифические русские... Они придут, конечно, придут. Мы знаем это из учебников истории. Но они опоздают, потому что и Яков, и обманутые им друзья, и разоблачившая его девочка Лина с чутким сердцем, и доктор Киришбаум, который «никогда не давал себе труда задуматься над тем, что он еврей», и чокнутый Гершель Штамм, который прячет под толстой шапкой знак своей еврейской независимости — пейсы, все они обратятся в дым и в пепел накануне прихода Красной Армии, сказочной, легендарной, мифической...

Кто он, этот главный герой Яков Гейм, — обманщик или сказочник, мелкий авантюрист или праведник? Сам он себя считал человеком, попавшим в дурацкое положение. Мы с вами, в сущности, не знаем, что думали о себе святые и пророки, если они вообще о себе думали. Возможно, что они тоже ощущали нечто подобное тому, что чувствовал Яков Гейм, — глубокое ко всем сочувствие, боязнь огорчить других людей и постоянную неловкость от полного непонимания окружающими самых благих намерений.

Возможно, здесь и заложено самое большое достоинство этой книги — в трагической истории, происходившей в одном городке в совершенно определенном 1944 году, незримо присутствуют пласты истории библейской и средневековой. Память народа, который пере-

живал нечто подобное три тысячи лет тому назад в Египте, две тысячи лет тому — в Вавилоне, тысячу — в Испании...

Юрек Бекер был ребенком, когда все это происходило. Чтобы написать такую книгу, он собирал материал, как это делают обыкновенно все писатели: опрашивал очевидцев, читал в библиотеках воспоминания, заказывал книги, делал выписки... Но есть в этой книге нечто такое, чего не соберешь в библиотеках, — глубокое проникновение в самый дух народа, на большую глубину его сущности. Книга эта написана по-немецки, но в ней живет, даже и в русском переводе, обаяние уже почти не существующего языка идиш, который ушел (или почти ушел) из мира с героями этой книги.

Исторические горизонты быстро затягиваются дымкой. Сегодняшние школьники не всегда знают, кто такие Гитлер и Сталин, история переписывается заново, на памяти одного поколения трижды меняли учебники по истории, сегодня самым надежным историком оказывается Геродот, потому что, во-первых, очень давно умер, во-вторых, он и историком-то не был — так, писал занимательные истории. И кто знает, может быть, когда учебники спалют в очередной раз, только художественная литература, со всей ее субъективностью и эмоциональной достоверностью, сохранит нашу собственную о себе память.

*Людмила УЛИЦКАЯ*

ЯКОВ-ЛЖЕЦ

Я слышу, как все говорят: подумаешь, дерево, что особенного, ствол, листья, корни, жучки в коре и раскидистая крона, что такого во всем этом? Я слышу, как они говорят: неужели не найдется ничего поинтереснее, о чем ты мог бы подумать? Нет, когда ты смотришь на обыкновенное дерево, во взоре у тебя этакая просветленность, как у голодной козы, которой показали пучок свежей травы. Может быть, ты думаешь о каком-то особом дереве, чьим именем названо историческое сражение? Или о том, на котором повесили какую-нибудь знаменитость? Может быть, тебя растрогал легкий шум, который люди называют шелестом, когда ветер, найдя твое дерево, как говорят музыканты, с листа играет на листьях? Или тебя интересует, сколько деловой древесины в одном таком стволе? Быть может, тебя умиляет тень, которую оно отбрасывает? Потому что, как только разговор заходит о тени, каждый — по странности — думает о деревьях, хотя от домов и домовен тень получается куда больше. Так, значит, ты имеешь в виду тень?

Все не так, говорю я тогда, нечего гадать, все равно не догадаетесь. Ничего этого я в виду не имею, хотя и очень ценю уютное тепло от горящих поленьев. Я думаю просто о дереве. И на то у меня есть свои причины. Во-первых, деревья сыграли известную роль в моей жизни, возможно, я придаю ей слишком большое значение, но так уж я считаю. В девять лет я упал с дерева, между прочим с яблони, и сломал левую руку. И с тех пор есть несколько мелких движений, которых пальцы мои делать не могут. Я упоминаю об этом потому, что в семье считалось решенным — когда-нибудь я буду скрипачом. Сначала так хотела моя мама, потом и отец, и в конце концов все мы трое. Что ж делать, раз так случилось, со скрипачом покончено. Прошло несколько лет, мне было уже семнадцать, я впервые в жизни обнимал девушку — под

деревом. Под буком, метров в пятнадцать высотой, девушку звали Эстер, нет, ее звали, кажется, Мойра, но дерево было точно бук. Кабан нам помешал; может быть, их набежало много, у нас не было времени оборачиваться. И еще через несколько лет мою жену Хану расстреляли возле дерева. Не могу сказать, какой породы, я при этом не присутствовал, мне рассказывали, и про дерево я спросить забыл.

А теперь вторая причина, почему в глазах у меня печаль и растроганность, когда я думаю о дереве, более важная. Дело в том, что в этом гетто деревья запрещены. (Распоряжение № 31: «Строжайше запрещается разводить на территории гетто какие бы то ни было растения, декоративные или полезные. То же относится и к деревьям. Если при организации гетто на его территории по недосмотру остались какие-либо дикорастущие растения, они подлежат немедленному уничтожению. Действия, совершаемые в нарушение данного распоряжения...»)

Это придумал Хартлофф, кто его знает почему, вероятно, из-за птиц. При этом были запрещены тысячи других вещей, кольца и всякие ценные предметы, запрещено держать животных, находиться на улице после восьми вечера, просто невозможно перечислить все запрещения. Представляю себе, что случится с человеком, которого встретят на улице после восьми с собакой, а на пальце у него кольцо. Нет, такого я даже представить себе не могу, я вообще не думаю о кольцах и собаках и вечерних прогулках. Я думаю только об этом дереве, и в глазах у меня печаль и растроганность. Я все могу понять, то есть теоретически всему нахожу объяснение, вы евреи, вы ничтожнее, чем грязь под ногами, к чему вам кольца и зачем вам после восьми болтаться по улицам? У нас насчет вас такие-то и такие-то планы, и мы поступим с вами так-то и так-то. Это я понимаю. Я бы их всех поубивал, если бы мог, я бы свернул шею Хартлоффу своей левой рукой, на которой пальцы не могут делать мелких движений, но этому я нахожу объяснение. А вот почему они запрещают нам деревья?

Тысячу раз я пытался избавиться от этой проклятой истории, и всегда безуспешно. То ли не те были люди, которым я хотел ее рассказать, то ли я делал что-то неправильно, путался, перевирал имена, или же, как было сказано, люди оказывались неподходящие. Каждый раз, когда я выпью, она является мне, и я не в силах от нее защититься. Мне нельзя так много пить; каждый раз я думаю, найдутся же подходящие люди, и думаю, что в голове у ме-

ня сложилось все очень хорошо по порядку, теперь, когда я начну рассказывать, я ничего не перепутаю.

А ведь когда помотришь на Якова, он ничем не напоминает дерево. Есть такие люди, о которых говорят: здоровый, как дуб, крупный, сильный, не дает ни себя, ни других в обиду, к таким хочется хоть на минуточку прислониться, каждый день хоть на минуточку. Яков гораздо ниже ростом, парню, что выглядит, как дерево, он самое большое до плеча. Его, как и всех нас, терзает страх, собственно, он ничем не отличается от Киршбаума или Франкфуртера, от меня или от Ковальского. Единственная разница в том, что без него не могла бы разыгаться эта злосчастная история. Но даже на этот счет мнения могут разделиться.

Начнем с того, что был вечер. Не спрашивайте, который час, это знают только немцы, у нас часов нет. Уже довольно давно стемнело, кое-где в окнах зажегся свет, значит, время позднее. Яков спешит, у него остались считанные минуты, ведь уже порядочно, как вокруг все темно. Но вдруг оказывается, что у него нет ни минуты, ни секунды, ни полсекунды. Почему? Потому что он попал в луч яркого света. Это происходит на мостовой посреди Курляндской, совсем близко от границы гетто, там, где раньше дамские портные держали свои салоны. Теперь там стоит постовой, в пяти метрах над Яковом на деревянной вышке за проволокой, которая протянута поперек улицы. Сначала постовой ничего не говорит, только держит Якова в свете своего прожектора, останавливает его прямо на мостовой и ждет. Слева на углу бывший магазин Мариутана из Румынии, которому пришлось снова туда вернуться, чтобы грудью защищать интересы своей страны на фронтах. А справа мастерская Тинтенфаса, местного еврея, который теперь сидит в Бруклине, Нью-Йорк, и продолжает шить дамские костюмы, новейшие модели по доступным ценам. Яков Гейм стоит один на один со своим страхом, по правде говоря, слишком старый для таких испытаний на крепость нервов, срывает с головы шапку, моргает, ослепленный светом, и знает только, что есть где-то в этом белом блеске два солдатских глаза, которые его нашли. Яков проверяет себя — не совершил ли он невольно какого-нибудь проступка, нет, как будто его не в чем обвинить. Удостоверение при нем, работу он не пропускал, шестиконечная звезда на груди пришита точно на предписанном месте, он еще раз посмотрел, а ту, что на спине, он только два дня назад закрепил толстыми нитками. Если постовой сейчас не выстрелит,

Яков с готовностью ответит на все вопросы, пусть только сразу не стреляет.

— Я ошибаюсь или запрещено находиться на улице после восьми часов? — произносит наконец солдат. Он из тех, кто играет в добродушных, и голос у него совсем не злой, даже скорее мягкий, с таким может прийти в голову и поболтать немножко...

— Запрещено, — говорит Яков.

— А сейчас который час?

— Не знаю.

— А должен знать, — говорит солдат.

Яков мог бы сказать: это правда. Он мог бы сказать также: откуда мне знать? Или спросить в ответ: а который теперь час? Или же молчать и ждать, и именно это он и делает, это кажется ему самым разумным.

— Ты, по крайней мере, знаешь, что там за дом? — спрашивает солдат после того, как ему стало ясно, что его собеседник не из тех, кто способен поддерживать обстоятельный разговор.

Яков знает это. Он не видел, куда показал солдат головой или пальцем, он видит только ослепительный прожектор, за ним стоит много домов, но при положении дел на настоящий момент речь может идти только об одном определенном доме.

— Участок, — говорит Яков.

— Туда ты сейчас и пойдешь. Ты доложишь дежурному, скажешь, что был на улице после восьми, и попросишь наказать тебя, как положено.

Участок. Якову не очень много известно об этом доме, он знает, что там сидит какое-то немецкое управление. Чем там управляют — об этом не говорят. Он знает, что раньше в этом здании был финансовый отдел, что там есть два выхода, один в эту сторону, другой за границу гетто. Но главное — он знает, что, будучи евреем, очень мало шансов выйти живым из этого дома. До сегодняшнего дня такие случаи известны не были.

— У тебя есть возражения?

— Нет.

Яков поворачивается и идет. Прожектор провожает его, указывает на неровности мостовой, все удлиняет и удлиняет его тень, пока она не дотягивается до железной двери с круглым глазком, когда Якову остается пройти до нее еще много шагов.

— И о чем ты попросишь? — спрашивает солдат.

Яков останавливается, терпеливо оборачивается и отвечает:

— О положенном мне наказании.



Он не кричит, кричат только несдержанные или невоспитанные люди, но он произносит эти слова и не слишком тихо, так, чтобы человек в свете прожектора мог его расслышать на расстоянии, он старается найти самый правильный тон. Пусть убедится, что он знает, о чем должен попросить, он готов ответить на этот вопрос.

Яков открывает дверь, быстро ее захлопывает, отгородив себя от прожектора, и смотрит на длинный пустой коридор. Раньше он часто бывал здесь, раньше налево, рядом с дверью стоял маленький стол, за ним сидел маленький служащий, сколько Яков себя помнит, всегда господин Каминек, и спрашивал каждого: «Чем можем служить?» — «Я хочу уплатить налоги за полгода, господин Каминек», — говорил Яков. Но Каминек вел себя так, будто никогда раньше не видел Якова, хотя с октября и до конца апреля почти каждую неделю бывал у него в кафе и ел картофельные оладьи. «По какому отделению?» — спрашивал Каминек. «Мелкая торговля и ремесло», — говорил Яков. Он не показывал виду, что вопрос его раздражал. Каминек каждый раз заказывал не меньше четырех оладий, а иногда приводил с собой жену. «Имя?» — спрашивал затем Каминек. «Гейм, Яков Гейм». — «Фамилии от «Г» до «К» — комната шестнадцать». Когда же Каминек приходил к нему в кафе, он не говорил, что хочет заказать именно картофельные оладьи, а просто: «Как всегда». Потому что он был постоянный клиент.

На том месте, где раньше стоял стол, еще видны четыре вмятины в полу от ножек. А стул следов не оставил, наверно, потому, что он не стоял так упорно на одном и том же месте, как стол. Яков прислоняется к двери и дает себе ненадолго отдых, последние минуты были нелегкими, но какое это теперь имеет значение. Запах в этом доме установился другой, какой-то более приятный, аммиачная вонь, которая стояла раньше в коридоре, исчезла, теперь здесь пахнет иначе, непонятно почему, но по-домашнему, кожей, женским потом, кофе и едва различимо духами. В дальнем конце коридора открывается дверь, выходит женщина в зеленом платье, у нее красивые стройные ноги, она вошла в другую комнату неподалеку, обе двери открыты, слышно, как она смеется, потом возвращается к себе, двери снова закрыты, коридор снова пуст. Яков все еще стоит, прислонившись к железной двери. Ему хочется выйти отсюда, может быть, прожектор уже не ждет его, может быть, он нашел себе что-нибудь новое, а может быть, он

все еще его ждет. Маловероятно, что он больше не ждет, не таким тоном задал вопрос этот солдат, чтобы можно было надеяться.

Яков идет по коридору. На дверях не написано, кто за ними сидит, на них только номера. Возможно, что дежурный занимает комнату, где сидел раньше начальник отдела, но уверенным быть нельзя и не в ту дверь стучаться не рекомендуется. Что тебе нужно? Хочешь, чтобы тебе объяснили, куда обратиться? Вы слышали, он хочет, чтобы ему здесь давали справки! Мы тут собираемся кое-что с ним сделать, у нас есть насчет него точный план, а он как ни в чем не бывало входит и хочет, чтобы ему объяснили, куда обратиться!

За дверью номер пятнадцать, когда-то «Мелкая торговля и ремесло» от «А» до «В», Яков слышит какие-то звуки. Он прикладывает ухо к двери, прислушивается, но ничего не разбирает, только отдельные слова, в которых нет никакого смысла. Если б дверь была потоньше, это все равно не помогло бы, потому что вряд ли в этой комнате один человек обращается к другому «господин дежурный по караулу». Вдруг дверь распахивается, как раз эта, с номером пятнадцать, к счастью, они здесь открываются наружу, так, что выходящий не может видеть Якова. Опять же счастье, человек оставляет дверь открытой, ведь он сразу же вернется, а когда считают, что находятся среди своих, оставляют двери открытыми, и потому Якова не заметили. В комнате работает радио, звук не очень чистый, приемник, видно, неважный, но это не музыка. С тех пор как Яков в этом гетто, он не слышал музыки, мы никто ее не слышали, только если кто-то пел. Диктор рассказывает неинтересные вещи, сообщения из ставки о присвоении посмертно звания подполковника, потом о полной обеспеченности населения продуктами питания, а потом уже до диктора дошла вот эта новость: в ходе тяжелых оборонительных боев нашим героически сражавшимся войскам удалось приостановить большевистское наступление в двадцати километрах от города Безаники. Во время боевых действий с нашей стороны... Человек вернулся в комнату, он закрывает за собой дверь, а дверь плотная, не пропускает звуков. Яков стоит не шелохнувшись, он услышал много, Безаника не очень далеко, не рядом, конечно, но и не за тысячу верст. Ему еще не приходилось бывать там, но что-то о ней он слышал, маленький городок, если едешь поездом через Милеворно на юго-восток через уездный город Прыя, где его дед по материнской линии держал аптеку, там пересаживаешься в направлении Коставки, то по дороге должна быть Безаника. Добрых четыреста